ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР. 1935
BULLETIN DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'URSS
Classe des sciences sociales
Отделение общественных наук

РАННИЕ РУССКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ ГОРАЦИЯ

(К 2000-летию со дня рождения Горация)

П. Н. БЕРКОВА

(*Представлено академиком* **А. С. Орловым**)

С именем Горация русская литература столкнулась очень поздно, лишь в новом периоде своего развития. Познакомившись с творчеством великого римского лирика, наши писатели начинают внимательно и серьезно изучать его литературное наследие, переводят, подражают ему, аргументируют свои эстетические позиции ссылками на поэтический кодекс прославленного венузийца и с некоторым запозданием присоединяются к тому энтузиастическому культу Горация, которым характеризуется XVII век на Западе.[1]

Русская поэзия XVIII в., несмотря на свой дворянский характер, не была все же монолитной и единой. В ней выступали разные социальные группировки, сталкивались разнообразные литературно-общественные течения, действовали различные художественные системы, хотя, несомненно, господствующим и задававшим тон оставался «классицизм», но классицизм-то этот воспринимался и интерпретировался неодинаково. И так как для всякого «классицизма» обязательным являлось следование незыблемым правилам искусства поэзии, то, наряду с «L'Art poétique» Буало, «Послание к Пизонам» Горация являлось литературным кораном русских поэтов XVIII в. Можно даже полагать — основанием для этого являются многочисленные рукописные пиитики конца XVII — начала XVIII вв., — что знакомство русских читателей и поэтов с творчеством Горация началось именно с De arte poëtica и прежде всего в классах оратории и поэзии в Киево-Могилянской и Московской славяно-греко-латинской академиях.[2]

[1] Stemplinger Ed. Horaz im Urteil der Jahrhunderte, Lpz., 1921; Idem. Das Fortleben der horazischen Lyrik seit der Renaissance, Lpz., 1906.

[2] Петров, Н. И. Киевская Академия во вторую половину XVII в., Киев, 1895, приложение IV (перечень учебников, в том числе и пиитик); Перетц, В. Н. Исследования и матери-

Впрочем, первые упоминания о Горации в собственно русской поэзии, а не в школьных курсах пиитики, относятся лишь к 1735 г. и не связаны с поэтическим кодексом великого римлянина. В «Эпистоле от российския поэзии к Аполлину» (1735) В. К. Тредиаковский утверждает, что

> ...Горациева всем есть люба уж лира,
> С Ювеналовой при том колюща сатира.[1]

И хотя сам Тредиаковский перевел De arte poëtica, о чем подробнее будет сказано далее, тем не менее, в цитированных стихах он довольно правильно отметил те группы произведений Горация, которые пользовались успехом в кругах современных, очень немногочисленных, русских поэтов. Эти группы — лирика и сатира — не в одинаковой, однако, мере привлекали в течение XVIII в. внимание наших поэтов. На первых порах больше посчастливилось горациевой сатире.

В 1744 г. в Петербурге «при императорской Академии Наук» были напечатаны «Квинта Горация Флакка десять писем первой книги переведены с Латинских стихов на р у с к и е (!) и примечаниями изъяснены от знатного некоторого охотника до стихотворства с приобщением при том письмом о стихосложении р у с к и х (!) стихов».[2] Это анонимное издание представляло труд одного из крупнейших тогдашних наших поэтов — кн. Ант. Д. Кантемира. Переводы эти делались Кантемиром исподволь, но в основном в 1742 г., в Париже, где он представительствовал русский двор «в характере полномочного министра». В посвящении имп. Елизавете Кантемир так определял идейное содержание переведенных им писем Горация:

> К нравов исправлению творец писать тщался,
> Искусно хвалить везде красну добродетель,
> И гнусное везде он злонравие хулит.[3]

риалы, СПб., 1901, ч. I, стр. 45 и 57, о польских учебниках Bicollis Parnassus (1670) и Introductio ad portam Apollineam (1723); Морозов, П. О. Феофан Прокопович, как писатель, СПб., 1880, стр. 98; Тихонравов, Н. С. Сочинения, М., 1898, ч. II, стр. 129. К сожалению мне не удалось de visu ознакомиться с латинской пиитикой Феофана Прокоповича, изданной в 1786 г. Георгием Коницким. Следует обратить также внимание на различные строфические искания безымянных поэтов петровского времени, несомненно связанные с изучением мелического богатства Горация. Ср. «Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.». Общая ред. П. Беркова. Вступительная статья Ив. Розанова. «Советский писатель», Л., 1935, стр. 265—267 и 314.

[1] Новый и краткий способ к сложению российских стихов, СПб., 1735, стр. 38; Стихотворения В. К. Тредиаковского. Под ред. акад. А. С. Орлова, Л., 1935, стр. 150.

[2] [Тукалевский, В. Н.] Издания гражданской печати времени императрицы Елизаветы Петровны 1741—1761, ч. I: 1741—1756, Л., 1935, стр. 91.

[3] Квинта Горация Флакка десять писем. Сочинения кн. А. Д. Кантемира. Под ред. П. А. Ефремова, СПб., 1867, т. I, стр. 384. В издании 1744 г. «Посвящение» отсутствует.

Далее Кантемир, снова обращаясь к Елизавете, пишет:

Сильнее, приятнее венузинца звоны,
Но я твоим говорю языком счастливым,
И хоть сладость сохранить не могли латинских
Будут не меньше стихи русские полезны.[1]

Эту дидактическую тенденцию своего перевода Кантемир снова подчеркивает в «Предисловии», очень любопытном, как показатель того, что именно ценил и чем дорожил в Горации его русский переводчик и подражатель.

«Меж всеми древними латинскими стихотворцами, — пишет Кантемир, — я чаю, Гораций одержит первейшее место. Удачлив в составе речéний, искусен в выборе прилагательных, смел в вымыслах, изображает оные с силою и сладостию. В сочинениях его делу слог соответствует, забавен и прост в сатирах и письмах своих, высок и приятен в своих песнях; всегда сочен и так наставлениями, как примерами к исправлению нравов полезен. Для того творения его не только в его временах Августу кесарю и знатнейшим римлянам были любезны, но и чрез слишком семнадцать веков при всех ученых людях во всех почти народах заслужил себе многое почтение». Мотивируя далее свой выбор, Кантемир апеллирует, однако, не к популярности Горация, а к актуальности его творчества. «Для того и я, — пишет Кантемир, — желая дать на нашем языке опыт перевода латинских стихотворцев, чаял, что не мог бы сыскать лучшего, а из его сочинений выбрал я его письма, для того что оне больше всяких других его сочинений обильны нравоучением. Почти всякая строка, — акцентирует переводчик, — содержит како-либо правило, полезное к учреждению жития».[2]

Не случаен был выбор Кантемира. Наш «первый сатирик» много близкого и понятного находил в сатирических посланиях Горация. К 1740 гг. сатирический жар в Кантемире поутих; его дипломатическая карьера не была, как принято думать, почетной миссией или наградой поэту за его энергичное участие в восстановлении неограниченной самодержавности имп. Анны Ивановны, вынужденной согласиться на «кондиции» олигархической кучки «верховных господ»; в большей мере это была почетная ссылка поэта, задевавшего своими сатирическими стрелами ряд деятелей современной ему эпохи. Не даром в 1769 г. «Трутень», один из лучших

[1] Там же, стр. 385.
[2] Там же, стр. 385.

сатирических русских журналов, определенно имея в виду Кантемира, вспоминал, что «были на Руси сатирики, и не в его [издателя] пору, но и тем рога посломали».[1] Дипломатическая ссылка Кантемира заставляет его смягчить тон и в последних сатирах, и в переработках сатир первой редакции. Стоико-эпикуреическая философия посланий Горация приходится как раз по нутру и по плечу Кантемиру. В письмах этих находит русский поэт возможность под формой перевода печатно коснуться тех вопросов, о которых в своих сатирах он если и мог говорить, то только надеясь на рукописное распространение их. Обильные примечания, хотя в основном реального и филологического содержания, также позволяли Кантемиру излагать его этические воззрения.

Как справился переводчик с латинским текстом? Для своего перевода Кантемир взял Горация в знаменитом издании Дасье; он довольно основательно использовал комментарий французского ученого, но иногда принужден был в русском переводе «руссифицировать» Горация.

Вот пример:

Incolumi Rodos et Mytilene pulchra facit, quod
Paenula solsitio, [campestre nivalibus auris,
Per brumam Tiberis], sextili mense caminus.

Epist. lib. I, ep. XI, v. 17—19.

Кто от страстей сохранил мысль свою свободну,
Родос и красивая Митилина столько
Ему нужны, сколь среди лета толста шуба,
Сколь занавеска в зиме, Тибр в морозное время.[2]

Или вот еще пример:

Quo teneam voltus mutantem Protea nodo?
Quid pauper recte? mutat cenacula, lectos,
Balnea, tonsores, conducto navigio aeque
Nauseat ac locuples, quem dicit priva triremis,
Si curatus inaequali tonsore capillos
Occuri, rides, si forte subucula pexae
Trita subest tunicae, vel si toga dissidet impar,
Rides...

Epist. lib. I, ep. I, v. 90—97.

[1] «Трутень», 1769, стр. 62. Слова «в его пору» надо понимать здесь не во временном значении, а в качественном, — в смысле «не ему чета».

[2] Сочин., ч. I, стр. 457.

Каким я пременчива удержу Протея
Узлом? Что же делает, скажешь мне, убогой?
Смейся. Применяет он подклети, постели,
Бани, балбера; равно наемная лодка
Гадит и скучит ему, как богачу судно
Собственное золотом блистательно всюду.
Если грубого на мне балбера рукою
Волосы острижены, не равно усмотришь,
Если уж изношенну под новым кафтаном
Рубашку или епанчю, так оплошно вздету,
Что один высок подол, а другой тащится,
Смеешься.[1]

Несмотря на такие «руссификации», в основном перевод Кантемира близок к подлиннику. В «Предисловии» своем переводчик это подчеркивает:

Не далеко отстою, хоть с ним не равняюсь.[2]

Кантемир переводил Горация, применяя обычный силлабический тринадцатисложный стих и отказавшись только от рифмы. Повидимому, этот перевод и был первым на русской почве применением белого стиха.[3]

Иначе подошел к переводу Горация В. К. Тредиаковский. Хотя он и считал, вслед за французскими теоретиками, что «рифма... есть игрушка, выдуманная в гóтические времена и всеконечно постороннее есть украшение стихам»,[4] тем не менее он переводит отдельные лирические произведения Горация рифмованными стихами. Из переводов Тредиаковского следует остановиться на трех: 1) на «Строфах похвальных поселянскому житию» (Эпод II); 2) на оде к Вальгию Руфу: «Не всегда дожди льют наводнение» (Non semper imbres nubibus hispidos. Lib. II, 9) и, наконец, 3) на прозаическом переводе «Искусства поэзии».

«Строфы похвальные поселянскому житию» Тредиаковский перевел, повидимому, в конце 1740 гг. По крайней мере, напечатаны они были в первый раз в его «Сочинениях и переводах» 1752 г.,[5] вторично с небольшой стилистической правкой, они, рядом с переводом тех же стихов, сделанным Н. Н. Поповским, были перепечатаны в 1757 г. в академическом научно-литературном журнале «Ежемесячные сочинения».[6]

[1] Там же, стр. 405.

[2] Там же, стр. 385.

[3] О переводах Кантемира из Горация имеется не лишенная интереса статья А. А. Веселовского «Кантемир-переводчик Горация» (Классический мир в представлении русского писателя первой половины XVIII века»). Изв. ОРЯС, 1914, т. XIX, кн. I, стр. 242—254.

[4] Аргенида. Предуведомление, стр. LXVI.

[5] Сочинения и переводы, СПб., 1752, ч. II, стр. 183—188.

[6] «Ежемесячные сочинения», 1757, июль, стр. 80—84; перевод Поповского—стр. 84—87.

Фанатический сторонник и пропагандист хорея, Тредиаковский перевел «Beatus ille...» пятистопным рифмованным хореем.

Счастлив в мире без сует живущий,
Как в златый век, да и без врагов;
Плугом отчески поля орющий,
А к тому ж без всяких и долгов.[1]

Еще в большей мере, чем Кантемир, Тредиаковский «руссифицирует» и «христианизирует» язычника Горация. Начать с того, что лукавый конец Горациева эпода —

Haec ubi locutus fenerator Alfius
Jam jam futurus rusticus,
Omnem redegit idibus pecuniam,
Quaerit Kalendis ponere —

(Epod. II, v. 67—70)

Тредиаковский отбрасывает и воспринимает и воспроизводит в своем переводе сатирический замысел латинского поэта как идиллические «строфы похвальные сельскому житию».

Затем переводчик тщательно вытравляет все элементы язычества из стихотворения Горация. Стихи:

Vel cum decorum mitibus pomis caput
Autumnus agris extulit,
Ut gaudet insitiva decerpens pira
Certantem et uvam purpurae,
Qua muneretur te, Priape, et te, pater
Silvane, tutor finium —

(Ep. II, v. 17—20)

у Тредиаковского переданы таким образом:

Осень как плодом обогатится,
Много яблок, груш и много слив,
О как полным сердцем веселится,
Их величину и зря налив.[2]

Но в своем подкрашивании Горация Тредиаковский идет еще дальше. Четверостишие:

Quod si pudica mulier in partem iuvet
Domum atque dulces liberos,
Sabina qualis aut perusta solibus
Pernicis uxor Apuli (v. 39—42)

[1] Соч. и перев., ч. II, стр. 183; в «Ежемес. соч.», там же, первый стих читается. «Счастлив в свете без сует живущий».

[2] Соч. и перев., ч. II, стр. 184.

неожиданно приобретает у Тредиаковского следующий библеизированный вид:

Буде ж правит весь толь постоянна
Дом жена благословенный с ним,
Сарра коль была, или Сусанна,
То спокойства нет сравненья с сим.[1]

Дальнейшие «строфы похвальные поселянскому житию» представляют скорее подражание, чем перевод Горация. Стихи Non Afra avis descendat in ventrem meum и т. д. Тредиаковский передает в следующем виде:

Каплуны прочь, птицы Африкански,
Что и изобрел роскошный смак;
Прочь Бургонски вина и Шампански,
Дале прочь и ты, густой Понтак.
Сытны токмо щи, ломть мягкий хлеба,
Молодой барашек иногда,
Все ж в дому, в чем вся его потреба,
В праздник пиво пьет, а квас всегда.[2]

Последние два куплета перевода Тредиаковского представляют его собственные вставки и вскрывают социальную направленность этого стихотворения на русской почве. Это выпад против «знати», против «аристократии», это идиллический идеал чиновника, который по службе, благодаря табели о рангах, может стать дворянином, а следовательно, и помещиком-землевладельцем. Этот новоявленный «rusticus» Тредиаковского, — согласно последним куплетам, —

Насыщаясь кушаньем природным,
Все здорово провождает дни,
Дел от добрых токмо благородным
Не от платья и не от гульни.
Счастлив о весьма излишно,
Жить кому так ныне удалось.
Дай бог, чтоб исчезло все что пышно,
Всем бы в простоте святой жилось.[3]

Из приведенного здесь анализа явствует, что «Строфы похвальные поселянскому житию» представляют скорее переделку, вольный перевод, чем перевод в прямом смысле слова. Гораздо ближе к подлиннику перевe-

[1] Там же, стр. 186.
[2] Там же, стр. 187.
[3] Там же, стр. 187—188.

дена ода к Вальгию Руфу. И здесь, конечно, Тредиаковский применил при переводе рифму, но при этом он сохранил размер подлинника, и очень удачно. Впрочем, несмотря на большую близость к оригиналу, Тредиаковский, повидимому, сознательно изменил одно место в этой оде:

Tu semper urgues flebilibus modis.
Mysten ademptum, nec tibi vespero
(Carm. lib. II, c. 9, v. 9—10)

У Тредиаковского же эта античная непристойная горесть по умершем отроке — возлюбленном, превращается в христианскую скорбь отца по безвременно угаснем сыне:

Вальгий! Ты ж всегда вне утешения:
Сын скончался! мнишь: нет украшения!
Сражен тем в вечер слезы точишь,
В утро ж слезами лицо свое мочишь.[1]

В связи с появлением этого перевода Тредиаковского возникла целая полемика. А. П. Сумароков, крупнейший дворянский поэт той эпохи, выступил в противовес Тредиаковскому, с оригинальной одой, которую назвал, «горацияскою», и, кроме того, отправил своему сопернику письмо, в котором оспаривал правильность горацианской строфы Тредиаковского. Последний в обширном «ответе на письмо о сафической и горацианской строфах» проявил большое знание античной метрики и, в частности, стихосложения Горация.[2] Сумароков полагал, что в первых двух стихах «горацианской» строфы цезура не обязательна:

Скажи свое веселье, Нева, ты мне,
Что сталося за счастье сей стране?
Здесь молния, играя, блещет,
Радостны громы сатира мещет.[3]

Отвечая Сумарокову, Тредиаковский писал: «Подлинно, государь мой, что из 283 строф, а потому из 566 первых двух стихов сея строфы, один только стишок находится у Горация по вольности без цезуры: он есть 2, строфы 4, оды 37, книги 1. Итак, цезура в первых двух стихах непре-

[1] Аргенида, т. I, стр. LXXX.

[2] Пекарский, П. П. История Академии Наук, СПб., 1873, т. II, стр. 250—254.

[3] Полное собрание творений А. П. Сумарокова. Изд. 2-е, М., 1787, ч. II, стр. 139; Стихотворения А. П. Сумарокова. Л., 1935, стр. 67—68. В комментарии к этому стихотворению (там же стр. 417) оно отнесено к 1758 г. и поводом к его появлению указано рождение вел. княжны Анны. Между тем, из контекста совершенно очевидно, что стихотворение это относится к рождению ребенка мужского пола, к тому же имеющему быть наследником престола (ср. ст. 15—16 и 41—48). Повидимому «Ода горацияская» была написана в 1754 г. по случаю рождения Павла, а напечатана она была лишь в 1758 г. в «Ежемес. соч.» (май).

оборимо доказана».[1] Таким образом, прекрасное знакомство Тредиаковского с поэзией Горация несомненно. Но еще более обнаруживает глубокое изучение Тредиаковским произведений великого римлянина прозаический перевод De arte poëtica, опубликованный Тредиаковским.

Со стороны простоты и чистоты языка этот перевод Тредиаковского является одним из лучших литературных произведений его. Конечно, и здесь он руссифицирует текст, напр., стихи

Amphora coepit
Institui: currente rota cur urceus exit?

(v. 21—22)

Тредиаковский переводит: «И понеже начата корчага, то чего ради на вертящемся колесе выделывается кувшин?».[2]

Или еще пример:

Romani pueri

(v. 324)

Тредиаковский переводит: «Римляне от самых мяхких своих нохтей...»[3]

Но в общем перевод очень близок к подлиннику, литературен и обнаруживает знакомство Тредиаковского с комментариями «Послания к Пизонам»: ряд стихов представляет не просто перевод, но известную интерпретацию темного места текста. Напр.,

Dicat
Filius Albini...

(v. 326—327)

Тредиаковский передает: «Пускай вопросится сын лихоимца Альбина...»[4] Слово «лихоимец» очевидная вставка — комментарий. Любопытны также и комментарии Тредиаковского к своему переводу.

Из изложенного видно, что литературное наследие Горация Тредиаковский внимательно и длительно изучал. Результаты этого изучения сказываются и в его собственных теоретических произведениях. Так, напр., свое «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» Тредиаковский начинает следующим образом: «Как живописная картина, так поэзия: она есть словесное изображение. Преизрядно, после Горация, уподобляется поэзия живописи;

[1] Пекарский. Ук. соч., стр. 254. Ср. замечания о горацианской строфе у Тредиаковского в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» («Ежемес. соч.», 1755, июнь, стр. 507; Стихотворения В. К. Тредиаковского, под ред. акад. А. С. Орлова. Л., 1935, стр. 442).

[2] Соч. и перев., ч. I, стр. 54.

[3] Там же, стр. 78.

но стих я уподобляю краске, употребленной на живопись. Что изображено краскою, весьма есть различно от нее; равно и поэзия всеконечно есть не стих: сей есть как краска, а поэзия, как изображенное ею».[1] В приведенном отрывке основная мысль Горация развита, дополнена и поставлена в связь со всей остальной поэтической системой Тредиаковского.

Но не один только Тредиаковский опирался в своих работах на литературный кодекс Горация. У Ломоносова также неоднократно есть ссылки на «De arte poëtica ». В своем анонимном «О качествах стихотворца рассуждении»[2] Ломоносов не только аргументирует свои позиции цитатами из «Послания к Пизонам» в стихотворном переводе Н. Н. Поповского, о котором более подробно будет сказано ниже, но однажды делает дословный прозаический перевод, именно в том месте, где у Поповского перевод не вполне точно передает замысел подлинника. При этом в переводе своем Ломоносов обнаруживает тонкое знание комментария к «De arte poëtica». Стихи Горация

Si quid tamen olim
Scripseris, in Maeci descendat iudicis aures
(v. 386—387)

у Поповского переведены так:

Изведать хочешь сил своих в стихах, сложи,
Но прежде Метию иль мне их покажи.[3]

Ломоносов же, вместо Меция, ставит Тарпу.

Но буде уже что написал, дай Тарпе,
Отцу и мне прочитать.[4]

Но, кроме ссылок на «Послание к Пизонам», обращение Ломоносова к произведениям Горация выразилось в виде двух переводов. Во первых, в 1748 г. Ломоносов передает стихи Горация

sine clade victor
Te copias, te consilium et tuos
Praebente... (Carm. lib. IV, c. XIV, v. 32—34)

четверостишием:

Ты войско, ты совет
Даешь своим соседам;
Твоим дивится свет
Беспагубным победам.[5]

[1] Соч. и перев., ч. I, стр. 156; Стихотворения Тредиаковского, стр. 404.

[2] «Ежемес. соч.», 1755, май, стр. 371—398; ср. сб. «XVIII век», под ред. акад. А. С. Орлова, Л., 1935, стр. 336—351.

[3] Письмо Горация Флакка о стихотворстве. СПб., 1753, стр. 20.

[4] «Ежемес. соч.», 1755, май, стр. 389; подробнее об этом см. сб. «XVIII век», стр. 346.

[5] Пекарский, П. П. История Академии Наук, ч. II, стр. 395.

Перевод этот был не случаен: стихи Горация с переменой victor на victrix были перенесены с Августа на Елизавету и были применены к недавнему важному политическому событию, Аахенскому миру, поднявшему авторитет императрицы в международных отношениях. Официальный по своему происхождению и назначению (он был предположен как эпиграф для календаря), перевод Ломоносова принадлежал к его служебным упражнениям в поэзии. Совершенно иной характер имеет сделанный им незадолго до того (1747) прекрасный перевод «Exegi monumentum»:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.
Где быстрыми шумит струями Авфид,
Где Давнус царствовал в простом народе.
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатный род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи еольски,
И первому звенеть Алцейской Лирой.
Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.[1]

Хотя перевод этот приведен Ломоносовым в «Риторике» в качестве образца неполного силлогизма или энтимемы, однако, не подлежит никакому сомнению автобиографический смысл этого перевода. Ломоносов, как и Гораций, вменял себе в заслугу, что ему «беззнатный род препятством не был, чтоб внесть» на свою родину новое, до того неизвестное стихосложение. Таким образом, казалось бы, случайный, служебный перевод из Горация приобретает более глубокий смысл, как элемент социальной биографии Ломоносова.

Наконец, должно упомянуть еще об одном переводе Ломоносова из Горация. Это четверостишие из оды 9 четвертой книги: Ne forte credas interitura quae.

1 Краткое руководство к красноречию, книга первая, СПб., 1748, стр. 251—252.

Четверостишие это представляет стихи 25—29 и в оригинале читается так:

Vixere fortes ante Agamemnona
Multi; sed omnes inlacrimabiles
Urguentur ignotique longa
Nocte, carent quia vate sacro

В переводе Ломоносова стихи эти выражены следующим образом:

Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас;
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас.

Они включены в «Предисловие о пользе книг церковных в Российском языке» («Собрание разных сочинений», 1757, ч. I, стр. 9). Сравнение перевода с оригиналом показывает, что Ломоносов, как и во всех своих обращениях к великому римлянину, не рабски воспроизводил подлинник, а стремился передать в основном его идейное содержание. Это свободное обращение с материалом представляет, однако, большой интерес, так как позволяет уловить индивидуальный оттенок во взглядах Ломоносова на некоторые вопросы. В особенности любопытно, как переведено выражение «carent quia vate sacro» (потому что они — герои — были лишены священного поэта); Ломоносов передает эту мысль так:

[потому] Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас.

В черновике статьи «О качествах стихотворца рассуждение» у Ломоносова сказано, что стихотворство «есть важнейшая и труднейшая из наук». Таким образом, эпитет «бессмертный» в применении к «гласу стихотворцев» оказывается не случайным, продиктованным требованиями размера стиха, а отвечающим серьезному взгляду Ломоносова на поэтическое искусство.

Да и самый перевод из Горация приведен Ломоносовым именно для иллюстрации этой мысли.

Суммируя отношения Ломоносова к Горацию, можно отметить, что, во-первых, переводы являются скорее переложениями и, во-вторых, — метрическая сторона подлинника совершенно не интересует Ломоносова — он передает разнообразные метры Горация ямбом, главным образом четырехстопным.

Как известно, Ломоносов обучал в Академическом университете студентов красноречию и пиитике и проходил с ними [illegible] ров.

Едва ли случайно поэтому то обстоятельство, что два лучших слушателя Ломоносова, как профессор риторики и пиитики Н. Н. Поповский и прекрасный переводчик И. С. Барков дали недурные по тому времени переводы из Горация. Первый из названных поэтов выпустил в свет в 1753 г. «Письмо Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам», приложив в конце перевод четырех од и второго эпода; Барков, через десять лет после Поповского, обнародовал «Квинта Горация Флакка Сатиры или беседы». И тот, и другой перевод представляют несомненный интерес.

Перевод «Послания к Пизонам» Поповского не так близок к подлиннику, как прозаический перевод Тредиаковского, но написан в общем довольно гладкими и легко читающимися стихами.

Увидев женский лик на шее лошадиной,
Шерсть, перье, чешую на коже вдруг единой,
Чтобы красавицой то чудо началось,
Но в черный рыбей хвост внизу оно сошлось,
Могли б ли вы тогда, Пизоны, удержаться,
Чтоб мастеру такой картины не смеяться?[1]

Несмотря на очевидную «пересказность» этого перевода, он высоко ценился современниками. Вот, напр., отзыв об этом переводе, относящийся к 1768 г. и принадлежащий одному из первых русских историков литературы: «Поповский, профессор красноречия в Московском университете, перевел „Опыт о человеке“ Попа, также „Правила стихотворства“ и несколько од Горация. Стихи его плавны и в силе выражения редко уступают подлиннику. Обороты, которых требовал совершенно иной строй нашего языка, везде так ловки, что, вместе с прекрасною версификацией, соединяется и сила мысли».[2]

Переводы четырех од второго эпода, приложенные к «Письму о стихотворстве», сделаны Поповским очень удачно. Они также написаны рифмованными стихами, как и перевод «Послания к Пизонам», но в них чувствуется большая простота, непринужденность и лексическая уверенность переводчика. Вот образчик:

Namque me silva lupus in sabina
Dum meam canto Lalagen et ultra
Terminum curis vagor expeditis
Fugit inermem
(Carm. lib. I, c. XXII, v. 9—12)

[1] Письмо Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам, СПб., 1753, стр. 3.
[2] Ефремов, П. А. Материалы для истории русской литературы, СПб., 1867, стр. 135 и 151.

Поповский передает так:

В лесу Савинском раз гуляя
Я о своей любезной пел,
И скучны мысли разгоняя,
Через пределы перешел;
Внезапно волк ко мне с размаху
Бежит, я обмер весь со страху.[1]

По этому отрывку можно представить, насколько легок, даже изящен язык переведенных Поповским од. Но очень характерен самый подбор переведенных стихотворений Горация: все это произведения, говорящие об этических воззрениях римского поэта, очевидно, очень близких и понятных поэту из поповичей. Переводы эти следующие: «Кто правдой в свете жить радеет» (Integer vitae...), «Не в тихой и обыкновенной / На верьх я славе поднимусь» (Non usitata nec tenui ferar...), «Кто правдой жить на свете тщится» (Justum et tenacem...)[2] и т. д.

Второй эпод переведен был Поповским гораздо ближе к подлиннику, чем в переделке Тредиаковского. Вот начало этого перевода:

Блажен тот, кто сует не знает,
Как жили люди прежних лет,
Поля наследны насевает
И лихвы с бедных не берет,
Не слышит к брани труб зовущих,
Воинские сердца мятущих.[3]

Некоторая «руссификация» перевода допускается и Поповским. Так, напр., стихи

Forumque vitat et superba civium
Potentiorum limina

(Ep. II, v. 7—8)

у Поповского разрастаются в четверостишие, слегка окрашенное в русские бытовые тона: исчезает форум, иной характер приобретает образ гордых порогов могущественных граждан, но зато появляется терминология русского судопроизводства XVIII в.:

И не теряет он поклонов
Ходя к гражданам гордым в дом,
Ни с кем он тяжбы не заводит
И бить челом в суды не ходит.[4]

[1] Письмо Горация о стихотворстве, стр. 25.
[2] Там же, стр. 25—26, 27—28, 29—32.
[3] Там же, стр. 37—40.
[4] Там же, стр. 37

Поповский воспринимает эпод не как «строфы похвальные поселянскому житию», а как сатиру, и потому он не отбрасывает, подобно Тредиаковскому, последнего четверостишия Горация, но передает его в следующем виде:

Так жизнь селянску похваляет
Алфий, дает что деньги в рост,
В пол месяца долги сбирает
И хочет сам купить погост,
Но вдруг раздумав всюды рыщет,
Опять в процент отдать их ищет.[1]

В 1757 г. Тредиаковский поместил перевод Поповского и свою переделку Горациева эпода, а также дословный прозаический его перевод в статье «О беспорочности и приятности деревенския жизни», напечатанной в журнале «Ежемесячные сочинения».[2] При этом свою переделку и перевод Поповского Тредиаковский характеризует так: «Не мое дело, при толь красном сонме славимых стихотворцев рассуждать, кои из их обоих стихов удачнее. Мню только, что первый сочинитель, вознес собственным способом, согласнейшим с образом и с употреблением нынешних времен, здание утвержденное на Горациевом токмо основании, то есть он не больше списывал с Горация, коль ему подражал своими подобиями; но вторый, изображая подлинные мысли автора своего, есть точный переводчик стихами с Горациевых стихов и обыкновений того века провозвестник».[3]

Подобно Поповскому, со вниманием отнесся к Горацию другой ученик Ломоносова, И. С. Барков. Он, как уже было отмечено выше, перевел сатиры Горация, изданные отдельной книжечкой в 1763 г. В начале книги идет интересное посвящение гр. Григорию Орлову; здесь Барков высказывает свой взгляд на сатиру, подчеркивая ее социальное значение:

Двояка в са́тира содержится потреба:
Злых обличение в злонравии и смех,
В котором правда вся, без страха, без помех,
Как в зеркале, чиста представлена народу.[4]

Упрекая дворянских поэтов, усиленно культивировавших в эти годы жанр жалостной любовной элегии, Барков продолжает:

Сатирику от муз свобода та дана,
Чтоб племя исправлял чрез умный смех развратно,
Лишь тщетно б об одном не говорил стократно.[5]

[1] Там же, стр. 40.
[2] «Ежемес. соч.», 1757, июль, стр. 66—88.
[3] Там же, стр. 88.
[4] Квинта Горация Флакка Сатиры или Беседы, СПб., 1763, стр. 5 (ненум.).
[5] Там же, стр. 5—6 (ненум.).

Барков сожалеет о том, что сатира должна быть отвлеченной, а не направленной против определенных лиц:

Лишила вольности политика в наш век,
Чтоб не был укорен на имя человек,
Как в древни времена то делали пииты,
Чрез коих всякого пороки въявь открыты.
Не только ж в книгах злых значатся имена,
Но и поступка их народу знать дана,
Затем, чтоб действом их пороки представлялись,
Дабы охотнее от оных возбуждались.

Переводчик не особенно склонен переоценивать значение сатиры.

Бумажка ничего не сделает у нас,
Хотя бы страсти в ней описывать сто раз:
Лишь видя в ней себя порочной как в зерцале,
Вдруг бросит, побежит он сам смеяся дале.[1]

Отрицая за литературой воспитательное значение, Барков утверждает, что примером для исправления порочных могут быть только добродетельные люди, и именно, вельможи, вроде гр. Орлова, которому посвящен перевод сатир Горация. Поэтому Барков заключает свое посвящение такими стихами:

Щастливей для меня тем будут и сатиры,
Когда не презришь ты Горациевой лиры.[2]

Впрочем, в следующем за посвящением предисловии Барков готов допустить, что «Сатир, изображающий пороки живо, скорее может возбудить в сердцах человеческих отвращение от злонравия или паче омерзение к порокам». Наличие двух, взаимно исключающих друг друга точек зрения на влияние сатиры на исправление нравов объясняется, повидимому, тем, что Барков не был вполне искренен в своем льстивом посвящении. На эту мысль наводит следующее за предисловием интересное «Житие Квинта Горация Флакка». Здесь Барков делает попытку объяснить происхождение горациевых сатир: «Незнатность рода, которую многие из римских вельмож в укоризну ему вменяли, была Горацию почти главною причиною писать сатиры, в коих он наиболее всего доказывает, что прямое благородство состоит не в знатности и древности предков и не в великом достоинстве, но единственно в добродетели, которой знатные римские вельможи для безмерной роскоши весьма мало последовали».[3] Должно ли понимать эту цитату из статьи Баркова

[1] Квинта Горация Флакка Сатиры или Беседы, СПб., 1763, стр. 6 (ненум.).
[2] Там же, стр. 6 (ненум.).
[3] Там же, стр. 9 (ненум.).

только как констатирование исторического факта, или же следует в ней видеть намек на серьёзную ему эпоху? Думается, что второе предположение более правильно, и, таким образом, барковский перевод приобретает более глубокий социальный смысл, нежели простое обогащение русской литературы классическим произведением прославленного римского лирика.

Обращаясь непосредственно к переводам сатир, следует отметить довольно большую близость их к оригиналу, точность и художественность языка. Известно, что Барков был исключительно талантливым переводчиком и прекрасно владея как языком, так и стихом, старался избегать славянизмов и вообще придерживался чисто русского языка. Образцом легкости его перевода может послужить начало III сатиры первой книги:

Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos
Ut numquam inducant animum cantare rogati,
Iniussi numquam desistant.

(Sat. lib. I, sat. III, v. 1—3)

В передаче Баркова стихи эти звучат так:

Обычной тот порок певцы в себе имеют,
Когда их просят в честь в беседе петь, немеют,
А где им не хотят совсем о том скучать,
Там сами ни на час не терпят, чтоб молчать.[1]

Вместе с «Сатирами или Беседами» в своем переводе, Барков вновь напечатал вышедший за десять лет до того отдельным изданием перевод Поповского «Письма Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам».[2] Самый текст перевода напечатан без малейших изменений. Но Барков снабдил работу своего товарища примечаниями, напечатанными под текстом. Принадлежали ли они переводчику или самому Баркову, для решения этого вопроса сейчас нет данных.

Барковым исчерпывается та группа ранних переводчиков Горация, которые, за исключением одного только Кантемира, все сплошь принадлежат к «разночинцам» и обслуживали дворянскую литературу. До шестидесятых годов XVIII в. писателей-дворян в русской литературе было сравнительно немного, во всяком случае их было меньше, чем писателей-разночинцев, вроде Тредиаковского, Ломоносова, Баркова. Переводчики-разночинцы начала XVIII в. выполняли важную для дворянской литературы функцию: они обогащали небогатую русскую словесность теми художественными произведениями западных и античных писателей, которые плотно

[1] Там же, стр. 19.
[2] Там же, стр. 151—184.

вошли в состав европейской дворянско-буржуазной культуры. Приобщение же к этой культуре, усвоение и переработка ее для русского дворянства той поры составляли серьезную задачу идеологического порядка. Переводы из Горация включались таким образом в эту общую линию усвоения европейской культуры.

Но нужно при этом отметить, что переводчики не механически-ремесленно производили пересадку Горация на русскую почву: то в большей, то в меньшей степени брали они у Горация то, что было им близко, и благодаря этому в какой-то мере переводы эти становились уже фактами самой русской литературы. Не случайно поэтому то обстоятельство, что в сознание русского читателя XVIII в. Гораций входит прежде всего как сатирик и литературный законодатель, как проповедник стоической морали. Горациевский эпикуреизм, его этический гедонизм был чужд его ранним русским переводчикам. Лишь позднее, у дворянских поэтов второй половины XVIII в. в расцвет эстетической дворянской культуры появляются в русской поэзии мотивы горацианской жизнерадостности, гармонического приятия мира, и, главным образом, эротического лиризма. Эта линия начинается с Сумарокова, который делает вольный перевод IX оды книги III «Donec gratus eram tibi»,[1] и кончается Капнистом[2] и Державиным,[3] в творчестве которых горацианские мотивы органически перерабатываются и делаются неотъемлемой составной частью их художественной системы.

Но дворянское увлечение таким Горацием заходит далеко в XIX в. вплоть до Пушкина и, наконец, находит завершение под пером Фета, осложняясь, впрочем, рядом наслоений иного порядка.

---

[1] Полн. собр. твор., изд. 2-е, М., 1787, ч. II, стр. 153.

[2] Веселовский, А. А. Капнист и Гораций. (Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII, начале XIX в.) Изв. ОРЯС, 1910, т. XV, кн. I, стр. 199—232 и отд.

[3] Державин, Г. Р. Сочинения, под ред. Я. К. Грота, СПб., 1883, т. IX, стр. 640 (под словом «Гораций»).